



В. Я. БРЮСОВ

«Медный всадник»

Идея повести

1

Первое, что поражает в «Медном всаднике», это — несоответствие между фабулой повести и ее содержанием.

В повести рассказывается о бедном, ничтожном петербургском чиновнике, каком-то Евгении, неумном, неоригинальном, ничем не отличающемся от своих собратий, который был влюблен в какую-то Парашу, дочь вдовы, живущей у взморья. Наводнение 1824 года снесло их дом; вдова и Параша погибли. Евгений не перенес этого несчастья и сошел с ума. Однажды ночью, проходя мимо памятника Петру I, Евгений, в своем безумии, прошептал ему несколько злобных слов, видя в нем виновника своих бедствий. Расстроенному воображению Евгения представилось, что Медный Всадник разгневался на него за это и погнался за ним на своем бронзовом коне. Через несколько месяцев после того безумец умер.

Но с этой несложной историей любви и горя бедного чиновника связаны подробности и целые эпизоды, казалось бы вовсе ей не соответствующие. Прежде всего ей предпослано обширное «Вступление», которое вспоминает основание Петром Великим Петербурга и дает в ряде картин весь облик этого «творения Петра». Затем, в самой повести, кумир Петра Великого оказывается как бы вторым действующим лицом. Поэт очень неохотно и скупо говорит о Евгении и Параше, но много и с увлечением — о Петре и его подвиге. Преследование Евгения Медным Всадником изображено не столько как бред сумасшедшего, сколько как реальный факт, и, таким образом, в повесть введен элемент сверхъестественного. Наконец, отдельные сцены повести рассказаны

тоном приподнятым и торжественным, дающим понять, что речь идет о чем-то исключительно важном.

Все это заставило критику, с ее первых шагов, искать в «Медном всаднике» второго, внутреннего смысла, видеть в образах Евгения и Петра воплощения, символы двух начал. Было предложено много разнообразнейших толкований повести, но все их, как нам кажется, можно свести к трем типам.

Одни, в их числе Белинский, видели смысл повести в сопоставлении коллективной воли и воли единичной, личности и неизбежного хода истории. Для них представителем коллективной воли был Петр, воплощением личного, индивидуального начала — Евгений. «В этой поэме, — писал Белинский, — видим мы горестную участь личности, страдающей как бы вследствие избрания места для новой столицы, где подверглось гибели столько людей... И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного... При взгляде на великана, гордо и непоколебимо возносящегося среди всеобщей гибели и разрушения и как бы символически осуществляющего собою несокрушимость его творения, мы хотя и не без содрогания сердца, но сознаем, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства, что за него историческая необходимость и что его взгляд на нас есть уже его оправдание... Эта поэма — апофеоза Петра Великого, самая смелая, какая могла только прийти в голову поэту, вполне достойному быть певцом великого преобразователя»¹. С этой точки зрения из двух столкнувшихся сил прав представитель «исторической необходимости», Петр.

Другие, мысль которых всех отчетливее выразил Д. Мережковский, видели в двух героях «Медного всадника» представителей двух изначальных сил, борющихся в европейской цивилизации: язычества и христианства, отречения от своего я в боге и обожествления своего я в героизме. Для них Петр был выразителем личного начала, героизма, а Евгений — выразителем начала безличного, коллективной воли. «Здесь (в «Медном всаднике»), — пишет Мережковский, — вечная противоположность двух героев, двух начал: Тазита и Галуба, старого Цыгана и Алеко, Татьяны и Онегина... С одной стороны, малое счастье малого, неведомого коломенского чиновника, напоминающего смиренных героев Достоевского и Гоголя, с другой — сверхчеловеческое видение героя... Какое дело гиганту до гибели неведомых? Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим целям?.. Но что если в

слабом сердце ничтожнейшего из ничтожных, “дрожащей твари”, вышедшей из праха, в простой любви его откроется бездна, не меньшая той, из которой родилась воля героя? Что если червь земли возмутится против своего бога?.. Вызов брошен. Суд мало-го над великим произнесен: “Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебя!” Вызов брошен, и спокойствие горделивого истукана нарушено... Медный Всадник преследует безумца... Но вещей бред безумца, слабый шепот его возмущенной совести уже не умолкнет, не будет заглушен подобным грому грохотаньем, тяжелым топотом Медного Всадника»². С своей точки зрения Ме-режковский оправдывает Евгения, оправдывает мятеж «малых», «ничтожных», восстание христианства на идеалы язычества.

Третьи, наконец, видели в Петре воплощение самодержавия, а в «зломном» шепоте Евгения — мятеж против деспотизма.

Новое обоснование такому пониманию «Медного всадника» дал недавно проф. И. Третьяк *, показавший зависимость повести Пушкина от сатир Мицкевича «Ustę» **. Сатиры Мицкевича появились в 1832 году и тогда же стали известны Пушкину. В бумагах Пушкина нашлись собственноручно сделанные им списки нескольких стихотворений из этих сатир ***. Целый ряд стихов «Медного всадника» оказывается то распространением стихов Мицкевича, то как бы ответом на них. Мицкевич изобразил северную столицу слишком мрачными красками; Пушкин ответил апологией Петербурга. Сопоставляя «Медного всадника» с сатирой Мицкевича «Oleszkiewicz» ****, видим, что он имеет с ней общую тему — наводнение 1824 года — и общую мысль: что за проступки правителей несут наказание слабые и невинные подданные. Если сопоставить «Медного всадника» со стихами Мицкевича «Pomnik Piotra Wielkiego» *****, мы найдем еще более важное сходство: у Мицкевича «поэт русского народа, славный песнями на целой полуночи» (т. е. сам Пушкин), клеймит памятник названием «каскад тиранства»; в «Медном всаднике» герой повести клянет тот же памятник. В примечаниях к «Медному всаднику» дважды упомянуто имя Мицкевича и его сатиры, при-

* *Tretiak Józef. Mickiewicz i Puszkín. Warszawa, 1906.* Мы пользовались изложением г. С. Браиловского (Пушкин и его современники. Вып. VII).

** «Отрывок» (польск.). — *Сост.*

*** Московский Румянцевский музей. Тетрадь № 2373 <Ныне в Пушкинском доме; шифр: ПД № 842. — *Сост.*>.

**** «Олешкевич» (польск.). — *Сост.*

***** «Памятник Петра Великого» (польск.). — *Сост.*

чем «Oleszkiewicz» назван одним из лучших его стихотворений. С другой стороны, и Мицкевич в своих сатирах несколько раз определенно намекает на Пушкина, как бы вызывая его на ответ.

Проф. Третьяк полагает, что в сатирах Мицкевича Пушкин услышал обвинение в измене тем «вольнoлюбивым» идеалам молодости, которыми он когда-то делился с польским поэтом. Упрек Мицкевича в его стихах «Do przyjaciól Moskali» *, обращенный к тем, кто «подкупленным языком славит торжество царя и радуется мукам своих приятелей», Пушкин должен был отнести и к себе. Пушкин не мог смолчать на подобный укор и не захотел ответить великому противнику тоном официально-патриотических стихотворений. В истинно художественном создании, в величавых образах высказал он все то, что думал о русском самодержавии и его значении. Так возник «Медный всадник».

Что же гласит этот ответ Пушкина Мицкевичу? Проф. Третьяк полагает, что как в стихах Мицкевича «Pomnik Piotra Wielkiego», так и в «петербургской повести» Пушкина — европейский индивидуализм вступает в борьбу с азиатской идеей государства в России. Мицкевич предсказывает победу индивидуализма, а Пушкин — его полное поражение. И ответ Пушкина проф. Третьяк пытается пересказать в таких словах: «Правда, я был и остаюсь провозвестником свободы, врагом тирании, но не явился ли бы я сумасшедшим, выступая на открытую борьбу с последней? Желая жить в России, необходимо подчиниться всемогущей идее государства, иначе она будет меня преследовать, как безумного Евгения».

Таковы три типа толкований «Медного всадника».

Нам кажется, что последнее из них, которое видит в Петре воплощение самодержавия, должно быть всего ближе к подлинному замыслу Пушкина. Пушкину не свойственно было олицетворять в своих созданиях такие отвлеченные идеи, как «язычество» и «христианство» или «историческая необходимость» и «участь индивидуальностей». Но, живя последние годы

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора³,

он не мог не задумываться над значением самодержавия для России. На те же мысли должны были его навести усердные его занятия русской историей и особенно историей Петра Великого. Убедительными кажутся нам и доводы проф. Третьяка о связи

* «Русским друзьям» (польск.). — Сост.

между «Медным всадником» и сатирами Мицкевича. Впрочем, и помимо этих сатир Пушкин не мог не знать, что его сближение с двором многими, и даже некоторыми из его друзей, истолковывается как измена идеалам его юности. Еще в 1828 году Пушкин нашел нужным отвечать на такие упреки стансами:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю...

Кроме того, понимание Петра в «Медном всаднике» как воплощения, как символа самодержавия, — до некоторой степени включает в себя и другие толкования повести. Русское самодержавие возникло в силу «исторической необходимости». К самодержавию царей московских с неизбежностью вел весь ход развития русской истории. В то же время самодержавие всегда было и обожествлением личности. Петра Великого Ломоносов открыто сравнивал с богом⁴. Богом называли современники еще Александра I. Мятеж личности против самодержавия невольно становится мятежом против «исторической необходимости» и против «обожествления личности».

Но, присоединяясь к основным взглядам проф. Третьяка, мы решительно не принимаем его выводов. Видя вместе с ним в «Медном всаднике» ответ Пушкина на упреки Мицкевича, мы понимаем этот ответ иначе. Мы полагаем, что сам Пушкин влагал в свое создание совершенно не тот смысл, какой хотят в нем прочесть.

2

Если присмотреться к характеристике двух героев «Медного всадника», станет явным, что Пушкин стремился всеми средствами сделать одного из них — Петра — сколько возможно более «великим», а другого — Евгения — сколько возможно более «малым», «ничтожным». «Великий Петр», по замыслу поэта, должен был стать олицетворением мощи самодержавия в ее крайнем проявлении; «бедный Евгений» — воплощением крайнего бессилия обособленной, незначительной личности.

Петр Великий принадлежал к числу любимейших героев Пушкина. Пушкин внимательно изучал Петра, много о нем думал, посвящал ему восторженные строфы, вводил его как действующее лицо в целые эпопеи, в конце жизни начал работать над обширной «Историей Петра Великого». Во всех этих изысканиях

Петр представлялся Пушкину существом исключительным, как бы превышающим человеческие размеры. «Гений Петра вырывался за пределы своего века», — писал Пушкин в своих «Исторических замечаниях» 1822 года⁵. В «Пире Петра Великого» Петр назван «чудотворцем-исполином». В «Стансах» его душе придан эпитет «всеобъемлющей». На полях Полтавы Петр —

Могущ и радостен, как бой.

.....

. . . . Лик его ужасен...

Он весь, как Божия гроза.

В «Моей родословной» одарен силой почти сверхъестественной тот,

Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Корме родного корабля.

Однако Пушкин всегда видел в Петре и крайнее проявление самовластия, граничащее с деспотизмом. «Петр I презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон», — писал Пушкин в «Исторических замечаниях». Тут же добавлено, что при Петре Великом в России было «всеобщее рабство и безмолвное повиновение». «Петр Великий одновременно Робеспьер и Наполеон, воплощенная революция»⁶, — писал Пушкин в 1831 году. В «Материалах для истории Петра Великого» Пушкин на каждом шагу называет указы Петра то «жестоким», то «варварским», то «тиранским». В тех же «Материалах» читаем: «Сенат и Синод подносят ему титул: отца отечества, всероссийского императора и Петра Великого. *Петр недолго церемонился и принял их*». Вообще, в этих «Материалах» Пушкин, упоминая бегло о тех учреждениях Петра, которые суть «плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости», — усердно выписывает те его указы, по поводу которых ему приходится говорить о «своевольстве и варварстве», о «несправедливости и жестокости», о «произволении самодержца».

В «Медном всаднике» те же черты мощи и самовластия в образе Петра доведены до последних пределов.

Открывается повесть образом властелина, который в суровой пустыне задумывает свою борьбу со стихиями и с людьми. Он хочет безлюдный край обратить в «красу и диво полнощных стран», из топи болот воздвигнуть пышную столицу и в то же время для своего полуазиатского народа «в Европу прорубить окно». В первых стихах нет даже имени Петра, сказано просто:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн*.

Петр не произносит ни слова, он только думает свои думы, — и вот, словно чудом, возникает

юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат.

Пушкин усиливает впечатление чудесного, делая ряд параллелей того, что было и что стало:

Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там,
По оживленным берегам,
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся.
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темнозелеными садами
Ее покрылись острова.

В одном черновом наброске этих стихов, после слов о «финском рыболове», есть у Пушкина еще более характерное восклицание:

...дух Петров
Спротивление природы! **

С этими словами надо сблизить то место в повести «Арап Петра Великого», где описывается Петербург времен Петра. «Ибрагим, — рассказывает Пушкин, — с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болот *по манию самодержавия*. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли *победу человеческой воли над сопротивлением стихий*». Очевидно, и в стихах «Медного всад-

* В первоначальном варианте «Вступления» читаем:

На берегу варяжских волн
Стоял, задумавшись глубоко,
Великий Петр. Пред ним широко... и т. д.

** Все цитаты, как эта, так предыдущие и последующие, основаны на самостоятельном изучении автором этой статьи рукописей Пушкина.

ника» Пушкин первоначально хотел повторить мысль о победе над «сопротивлением стихий» — человеческой, державной воли.

«Вступление» после картины современного Пушкину Петербурга, прямо названного «творением Петра», заканчивается торжественным призывом к стихиям — примириться со своим поражением и со своим пленом.

Красуйся, град Петров, и стой
 Неколебимо, как Россия!
 Да умирится же с тобой
 И побежденная стихия:
 Вражду и плен старинный свой
 Пусть волны финские забудут...

Но Пушкин чувствовал, что исторический Петр, как ни преувеличивать его обаяние, все же останется только человеком. Порою из-под облика полубога будет неизбежно выступать облик просто «человека высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, который, облокотясь на стол, читает гамбургские газеты» («Арап Петра Великого»). И вот, чтобы сделать своего героя чистым воплощением самодержавной мощи, чтобы и во внешнем отличить его ото всех людей, Пушкин переносит действие своей повести на сто лет вперед («Прошло сто лет...») и заменяет самого Петра — его изваянием, его идеальным образом. Герой повести — не тот Петр, который задумывал «грозить Шведу» и звать к себе «в гости все флаги», но «Медный всадник», «горделивый истукан» и прежде всего «кумир». Именно «кумиром», т. е. чем-то обожествленным, всего охотнее и называет сам Пушкин памятник Петра*.

Во всех сценах повести, где является «Медный всадник», изображен он как существо высшее, не знающее себе ничего равного. На своем бронзовом коне он всегда стоит «в вышине»; он один остается спокойным в час всеобщего бедствия, когда кругом «все опустело», «все побежало», все «в трепете». Когда этот Медный Всадник скачет, раздается «тяжелый топот», подобный «грома грохотанью», и вся мостовая потрясена этим скаканьем, которому поэт долго выбирал подходящее определение — «тяжело-мерное», «далеко-звонкое», «тяжело-звонкое». Говоря об этом кумире, высящемся над огражденною скалою, Пушкин, всегда столь сдержанный, не останавливается перед самыми смелыми эпитетами: это — и «властелин Судьбы», и «державец полуми-

* Выражение «гигант» не принадлежит Пушкину; это — поправка Жуковского.

ра», и (в черновых набросках) «страшный царь», «мощный царь», «муж Судьбы», «владыка полумира».

Высшей силы это обожествление Петра достигает в тех стихах, где Пушкин, забыв на время своего Евгения, сам задумывается над смыслом подвига, совершенного Петром:

О, мощный властелин Судьбы!
 Не так ли ты над самой бездной,
 На высоте уздой железной
 Россию поднял на дыбы?

Образ Петра преувеличен здесь до последних пределов. Это уже не только победитель стихий, это воистину «властелин Судьбы». Своей «роковой волей» направляет он жизнь целого народа. Железной уздой удерживает он Россию на краю бездны, в которую она уже готова была рухнуть *. И сам поэт, охваченный ужасом перед этой сверхчеловеческой мощью, не умеет ответить себе, кто же это перед ним.

Ужасен он в окрестной мгле!
 Какая дума на челе!
 Какая сила в нем сокрыта!

 Куда ты скачешь, гордый конь,
 И где опустишь ты копыта?

Таков первый герой «петербургской повести». Петр, Медный Всадник, полубог. — Пушкин позаботился, чтобы второй герой, «бедный, бедный мой Евгений», был истинною ему противоположностью.

В первоначальной наброске «Медного всадника» характеристике второго героя было посвящено много места. Как известно, отрывок, выделенный впоследствии в особое целое под заглавием «Родословная моего героя», входил сначала в состав «петербургской повести», и никто другой, как «мой Езерский», превратился позднее в «бедного Евгения». Именно, рассказав, как

* Мы понимаем это место так: Россия, стремительно несясь вперед по неверному пути, готова была рухнуть в бездну. Ее «седок», Петр, вовремя, над самой бездной, поднял ее на дыбы и тем спас. Таким образом, в этих стихах мы видим оправдание Петра и его дела. Другое понимание этих стихов, толкующее мысль Пушкина как упрек Петру, который так поднял на дыбы Россию, что ей осталось «опустить копыта» только в бездне, — кажется нам произвольным. Отметим, кстати, что во всех подлинных рукописях читается «поднял на дыбы», а не «вздернул на дыбы» (как до сих пор печаталось и печатается во всех изданиях).

из гостей домой
Пришел Евгений молодой,

Пушкин сначала продолжал:

Так будем нашего героя
Мы звать, затем что мой язык
Уж к звуку этому привык.
Начнем ab ovo: мой Евгений
Происходил от поколений,
Чей дерзкий парус среди морей
Был ужасом минувших дней.

Однако потом Пушкин нашел неуместным рассказывать о предках того героя, который, по замыслу повести, должен быть ничтожнейшим из ничтожных, и не только выделил в отдельное произведение все строфы, посвященные его родословной, но даже лишил его «прозвания», т. е. фамилии (в различных набросках герой «петербургской повести» назван то «Иван Езерский», то «Зорин молодой», то «Рулин молодой»). Длинная родословная заменилась немногими словами:

Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало....

Не довольствуясь тем, Пушкин постарался совершенно обезличить своего героя. В ранних редакциях повести Евгений — еще довольно живое лицо. Пушкин говорит определенно и подробно и о его житейском положении, и о его душевной жизни, и о его внешнем облике. Вот несколько таких набросков:

Он был чиновник небогатый,
Лицом немного рябоватый.

Он был затейлив, небогат,
Собою белокур...

Он был чиновник очень бедный,
Безродный, круглый сирота.

Чиновник бедный,
Задумчивый, худой и бледный.

Он одевался нерадиво,
Всегда бывал застегнут криво
Его зеленый, узкий фрак.

Как все, он вел себя не строго,
 Как все, о деньгах думал много,
 И жуковский курил табак,
 Как все, носил мундирный фрак.

От всего этого, в окончательной обработке, остались только сведения, что «наш герой» — «где-то служит» и что «был он беден».

Характерно также, что первоначальный герой повести представлялся Пушкину лицом гораздо более значительным, нежели позднейший Евгений. Одно время Пушкин думал даже сделать из него если не поэта, то человека, как-то интересующегося литературой. В черновых набросках читаем:

Мой чиновник
 Был *сочинитель* и любовник.
 Как все, он вел себя не строго,
 Как мы, писал стихами много.

Вместо этого, в окончательной редакции, Пушкин заставляет Евгения мечтать:

Что мог бы бог ему прибавить
 Ума и денег...

Где уже думать о сочинительстве человеку, который сам сознается, что ему недостает ума!

Точно так же первоначальный герой и на социальной лестнице стоял гораздо выше Евгения. Пушкин сначала называл его своим соседом и даже говорил о его «роскошном» кабинете.

В своем роскошном кабинете,
 В то время, Рулин молодой
 Сидел задумчиво...

...в то время
 Домой приехал мой сосед,
 Вошел в свой мирный кабинет*.

* Что касается отрывка, даваемого многими изданиями как вариант стихов «Медного всадника»:

Тогда, по каменной площадке
 Песком усыпанных сеней,
 Взбежав по ступеням отлогим
 Широкой лестницы своей... и т. д. —

то связь этих стихов с «петербургской повестью» кажется нам весьма сомнительной⁷.

Все эти черты постепенно изменялись. «Мирный» кабинет был заменен «скромным» кабинетом; потом вместо слова «мой сосед» появилось описательное выражение: «в том доме, где стоял и я»; наконец жилище своего героя Пушкин стал определять как «канурка пятого жилья», «чердак», «чулан» или словами: «живет под кровлей». В одной черновой сохранилась характерная в этом отношении поправка: Пушкин зачеркнул слова «мой сосед» и написал вместо того «мой чудак», а следующий стих:

Вошел в свой мирный кабинет, —

изменил так:

Вошел и отпер свой чердак.

Пушкин простер свою строгость до того, что лишил всяких индивидуальных черт самый этот «чердак» или «чулан». В одной из ранних редакций читаем:

Вздохнув, он осмотрел чулан,
Постелю, пыльный чемодан,
И стол бумагами покрытый,
И шкап со всем его добром;
Нашел в порядке все; потом,
Дымком своей сигары сытый,
Разделся сам и лег в постель,
Под заслуженную шинель.

Ото всех этих сведений в окончательной редакции сохранилось только глухое упоминание:

Живет в Коломне...

да два сухих стиха:

Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.

Даже в перебеленной рукописи, представленной на цензуру государю, оставалось еще подробное описание мечтаний Евгения, вводившее читателя в его внутренний мир и в его личную жизнь:

Жениться? Что ж? Зачем же нет?
И в самом деле? Я устрою
Себе смиренный уголок,
И в нем Парашу успокою.
Кровать, два стула, щей горшок,
Да сам большой... чего мне боле?
По воскресеньям летом в поле
С Парашей буду я гулять;
Местечко выпрошу; Параше
Препоручу хозяйство наше

И воспитание ребят...
 И станем жить, и так до гроба
 Рука с рукой дойдем мы оба,
 И внуки нас похоронят.

Уже после просмотра рукописи царем и запрещения ее Пушкин выкинул и это место, неумолимо отымая у своего Евгения все личные особенности, все индивидуальные черты, как уже раньше отнял у него «прозвание».

Таков второй герой «петербургской повести» — ничтожный коломенский чиновник, «бедный Евгений», «гражданин столичный»,

Каких встречаете вы тьму,
 От них нисколько не отличный
 Ни по лицу, ни по уму*.

В начале «Вступления» Пушкин не нашел нужным назвать по имени своего первого героя, так как достаточно о нем сказать «Он», чтобы стало ясно, о ком речь. Введя в действие своего второго героя, Пушкин также не назвал его, находя, что «прозвания нам его не нужно». Изю всего, что сказано в повести о Петре Великом, нельзя составить определенного облика: все расплывается во что-то громадное, безмерное, «ужасное». Нет облика и у «бедного» Евгения, который теряется в серой, безразличной массе ему подобных «граждан столичных». Приемы изображения того и другого — покорителя стихий и коломенского чиновника — сближаются между собою, потому что оба они — олицетворения двух крайностей: высшей человеческой мощи и предельного человеческого ничтожества.

3

«Вступление» повести изображает могущество самодержавия, торжествующего над стихиями, и заканчивается гимном ему:

Красуйся, град Петров, и стой
 Неколебимо, как Россия!

Две части повести изображают два мятежа против самовластия: мятеж стихий и мятеж человека.

Нева, когда-то порабощенная, «взятая в плен» Петром, не была своей «старинной вражды» и с «тщетной злобою» восстает

* В такой редакции эти стихи входят в одну из рукописей «Медного всадника».

на поработителя. «Побежденная стихия» пытается сокрушить свои гранитные оковы и идет приступом на «стройные громады дворцов и башен», возникших по манию самодержавного Петра.

Описывая наводнение, Пушкин сравнивает его то с военными действиями, то с нападением разбойников:

*Осада! приступ! Злые волны,
Как воры, лезут в окна...*

—————
*Так злодей,
С свирепой шайкою своей,
В село ворвавшись, ловит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..*

На минуту кажется, что «побежденная стихия» торжествует, что за нее сама Судьба:

Народ
Зрит *божий гнев* и казни ждет.
Увы! *все гибнет...*

Даже «покойный царь», преемник одного покорителя стихий, приходит в смятение и готов признать себя побежденным:

На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С *божией стихией*
Царям не совладать»...

Однако среди всеобщего смятения есть Один, кто остается спокоен и непоколебим. Это Медный Всадник, державец полумира, чудотворный строитель этого города. Евгений, верхом на мраморном льве, вперяет «отчаянные взоры» в ту даль, где, «словно горы», «из возмущенной глубины» встают страшные волны. —

И обращен к нему спиною,
В *неколебимой вышине*,
Над возмущенною Невою,
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

В первоначальном наброске этого места у Пушкина было:

И прямо перед ним из вод
Возникнул медною главою
Кумир на бронзовом коне,
Неве *мятежной* * в тишине
Грозя недвижную рукою...

* Вариант: «безумной».

Но Пушкин изменил эти стихи. Медный Всадник презирает «тщетную злобу» финских волн. Он не снисходит до того, чтобы грозить «мятежной Неве» своей простертою рукою.

Это первое столкновение бедного Евгения и Медного Всадника. Случай сделал так, что они остались наедине, двое на опустелой площади, над водой, «завоевавшей все вокруг», — один на бронзовом коне, другой на звере каменном. Медный Всадник с презрением «обращен спиною» к ничтожному человечку, к одному из бесчисленных своих подданных, не видит, не замечает его. Евгений, хотя его отчаянные взоры и наведены недвижно «на край один», не может не видеть кумира, возникшего из вод «прямо перед ним».

Медный Всадник оказывается прав в своем презрении к «тщетной злобе» стихии. То было просто «наглое буйство», разбойничье нападение.

...Насытись разрушеньем
И *наглым буйством* утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу...
(Так) грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат *разбойники* домой,
Добычу по пути роняя.

Всего через день уже исчезли следы недавнего мятежа:

Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей,
И не нашел уже следов
Беды *вчерашней*...
В порядок *прежний* все вошло.

Но мятеж стихий вызывает другой мятеж: человеческой души. Смятенный ум Евгения не переносит «ужасных потрясений», пережитых им ужасов наводнения и гибели его близких. Он сходит с ума, становится чужд свету, живет, не замечая ничего вокруг, в мире своих дум, где постоянно раздается «мятежный шум Невы и ветров». Хотя Пушкин и называет теперь Евгения «несчастливым», но все же дает понять, что безумие как-то возвысило, облагородило его. В большинстве редакций повести Пушкин говорит о сумасшедшем Евгении —

Он оглушен
 Был *чудной* внутренней тревогой*.

И вообще во всех стихах, посвященных «безумному» Евгению, есть особая задушевность, начиная с восклицания:

Но бедный, бедный мой Евгений**.

Проходит год, наступает такая же ненастная осенняя ночь, какая была перед наводнением, раздается кругом тот же «мятежный шум Невы и ветров», который всечасно звучит в думах Евгения. Под влиянием этого повторения безумец с особой «живостью» вспоминает все пережитое и тот час, когда он оставался «на площади Петровой» наедине с грозным кумиром. Это воспоминание приводит его на ту же площадь; он видит и каменного льва, на котором когда-то сидел верхом, и те же столбы большого нового дома и «над огражденною скалою»

Кумир на бронзовом коне.

«Прояснились в нем страшно мысли», — говорит Пушкин. Слово «страшно» дает понять, что это «прояснение» не столько возврат к здоровому сознанию, сколько некоторое прозрение***. Евгений в «кумуре» внезапно признает виновника своих несчастий,

Того, чьей волей роковой
 Над морем город основался.

Петр, спасая Россию, подымая ее на дыбы над бездной, ведя ее своей «волей роковой по им избранному пути, основал город «над морем», поставил башни и дворцы в топи болот. Через это и погибло все счастье, вся жизнь Евгения, и он влачит свой несчастный век получеловеком, полужверем. А «горделивый истукан» по-прежнему стоит, как кумир, в темной вышине. Тогда в душе безумца рождается мятеж против насилия чужой воли над судьбой его жизни. «Как обуянный силой черной», он припадает к решетке и, стиснув зубы, злобно шепчет свою угрозу державцу полумира:

-
- * Так читаются эти стихи и в белой рукописи, представленной на просмотр государю.
- ** В один год с «Медным всадником» написаны стихи «Не дай мне бог сойти с ума...», где Пушкин признается, что и сам «был бы рад» растаться с разумом своим.
- *** «*Страшно* прояснились» — в окончательной редакции; в более ранних редакциях: «*странно* прояснились», что еще усиливает даваемый нами этому месту смысл.

«Добро, строитель чудотворный!
Ужо тебе!»

Пушкин не раскрывает подробнее угрозы Евгения. Мы так и не знаем, что именно хочет сказать безумец своим «Ужо тебе!». Значит ли это, что «малые», «ничтожные» сумеют «ужо» отомстить за свое порабощение, унижение «героем»? Или что безгласная, безвольная Россия подымет «ужо» руку на своих властителей, тяжко заставляющих испытывать свою роковую волю? Ответа нет*, и самой неопределенностью своих выражений Пушкин как бы говорит, что точный смысл упрека не важен. Важно то, что малый и ничтожный, тот, кто недавно сознавался смиренно, что «мог бы бог ему прибавить ума», чьи мечты не шли дальше скромного пожелания: «местечко выпрошу», внезапно почувствовал себя равным Медному Всаднику, нашел в себе силы и смелость грозить «державцу полумира».

Характерны выражения, какими описывает Пушкин состояние Евгения в эту минуту:

Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь...

Торжественность тона, обилие славянизмов («чело», «хладной», «пламень») показывают, что «черная сила», которой обу-

* Как известно, «Медный всадник» был напечатан впервые не в том виде, как он написан Пушкиным. Это подало повод к легенде, будто Пушкин вложил в уста Евгения перед «горделивым истуканом» какой-то особо резкий монолог, который не может появиться в русской печати. Кн. П. П. Вяземский в своей брошюре «Пушкин по документам Остафьевского архива» <СПб., 1880> сообщил как факт, будто в чтении повести самим Пушкиным потрясающее впечатление производил монолог обезумевшего чиновника перед памятником Петра, заключавший в себе около тридцати стихов, в которых «слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации». «Я помню, — продолжал П. П. Вяземский, — впечатление, произведенное им на одного из слушателей А. О. Росsetти, и мне как будто помнится, он уверял меня, что снимет копию для будущего времени»⁸. Сообщение кн. П. П. Вяземского должно признать совершенно вздорным. В рукописях Пушкина нигде не сохранилось ничего, кроме тех слов, которые читаются теперь в тексте повести. Самое резкое выражение, какое вложил Пушкин в уста своего героя, это — «Ужо тебе!» или «Уже тебе!», согласно с правописанием подлинника. Кроме того, «ненависть к европейской цивилизации» вовсе не вяжется со всем ходом рассказа и с основной идеей повести.

ян Евгений, заставляет относиться к нему иначе, чем раньше. Это уже не «наш герой», который «живет в Коломне, где-то служит»; это соперник «грозного царя», о котором должно говорить тем же языком, как и о Петре.

И «кумир», оставшийся стоять недвижно над возмущенною Невою, «в неколебимой вышине», не может с тем же презрением отнестись к угрозам «бедного безумца». Лицо грозного царя возгорается гневом; он покидает свое гранитное подножие и «с тяжелым топотом» гонится за бедным Евгением. Медный Всадник преследует безумца, чтобы ужасом своей погони, своего «тяжело-звонкого скаканья» заставить его смириться, забыть все, что мелькнуло в его уме в тот час, когда «прояснились в нем страшно мысли».

И во всю ночь, безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

Медный Всадник достигает своей цели: Евгений смиряется. Второй мятеж побежден, как и первый. Как после буйства Невы, «в порядок прежний все вошло». Евгений снова стал ничтожнейшим из ничтожных, и весною его труп, как труп бродяги, рыбаки похоронили на пустынном острове, «ради бога».

4

В первой юности Пушкин примыкал к либеральному политическому движению своей эпохи. Он был в дружеских отношениях со многими декабристами. «Возмутительные» (по тогдашней терминологии) стихи были одной из главных причин его ссылки на юг.

В сущности, политические идеалы Пушкина всегда были умеренны. В самых смелых своих стихотворениях он повторял неизменно:

Владыки, вам венец и трон
Дает закон, а не природа!

В таких стихотворениях, как «Вольность», «Кинжал», «Андрей Шенье», Пушкин раздает самые нелестные эпитеты «бесславному ударам», «преступной секире», «исчадью мятежа» (Марат), «ареопагу остервенелому» (революционный трибунал 1794 г.). Но все-таки в ту эпоху, под влиянием общего брожения, он еще го-

тов был воспевать «последнего судию позора и обиды, карающий кинжал» и верить, что над «площадью мятежной» может взойти

...день великий, неизбежный
Свободы яркий день...

Однако в середине 20-х годов, еще до события 14 декабря, в политических воззрениях Пушкина совершился определенный переворот. Он разочаровался в своих революционных идеалах. На вопрос о «свободе» он начал смотреть не столько с политической, сколько с философской точки зрения. Он постепенно пришел к убеждению, что «свобода» не может быть достигнута насильственным изменением политического строя, но будет следствием духовного воспитания человечества*.

Эти взгляды и положены в основу «Медного всадника».

Пушкин выбрал своим героем самого мощного из всех самодержцев, какие когда-либо восставали на земле. Это — исполин-чудотворец, полубог, повелевающий стихиями. Стихийная революция не страшит его, он ее презирает. Но когда восстает на него свободный дух единичного человека, «державец полумира» приходит в смятение. Он покидает свою «огражденную скалу» и всю ночь преследует безумца, только бы своим тяжелым топотом заглушить в нем мятеж души.

«Медный всадник», действительно, ответ Пушкина на упреки Мицкевича в измене «вольнлюбивым» идеалам юности. «Да, — как бы говорит Пушкин, — я не верю больше в борьбу с деспотизмом силами стихийного мятежа: я вижу всю его бесплодность. Но я не изменил высоким идеалам свободы. Я по-прежнему уверен, что не вечен «кумир с медною главою», как ни ужасен он в окрестной мгле, как ни вознесен он «в неколебимой вышине». Свобода возникнет в глубинах человеческого духа, и «огражденная скала» должна будет опустеть. <...>



* Эволюция политических воззрений Пушкина, схематически наменная нами, более подробно прослежена в статье Александра Слонимского «Пушкин и декабрьское движение» (<Пушкин А. С. Сочинения / Под ред. С. А. Венгерова. СПб.: изд. Брокгауз и Ефрон, 1908.> Т. II. С. 503).